



АЛЕКСАНДР КУШНЕР

«ТО, ЧТО МЫ
ЗОВЕМ ДУШОЙ...»

Кушнер — один из лучших лирических поэтов XX века, и его имени суждено стоять в ряду имен, дорогих сердцу всякого, чей родной язык русский.

Иосиф Бродский

Вот счастье — с тобой говорить, говорить, говорить!
Вот радость — весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью.
О, как она тянется, звездная тонкая нить,
Прошив эту тьму, эту яму волшебную, волчью!

Александр Семёнович Кушнер
«То, что мы зовем душой...»
Избранные стихотворения
Серия «Азбука-поэзия»

текст предоставил правообладатель

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69483277

*Александр Кушнер. «То, что мы зовем душой...»: избранные
стихотворения: Азбука, Азбука-Антиквус; СПб.; 2023*

ISBN 978-5-389-23714-8

Аннотация

«Кушнер – один из лучших лирических поэтов XX века, и его имени суждено стоять в ряду имен, дорогих сердцу всякого, чей родной язык русский», – писал Иосиф Бродский. «Поэт жизни во всех ее проявлениях», в своем творчестве он следует традициям «гармонической школы» и акмеизма с его «прекрасной ясностью», вниманием к деталям, оттенкам, мелочам, из которых складывается волнующая полнота человеческой жизни, ее хрупкая, мимолетная красота. Стихи Александра Кушнера отмечены многими литературными премиями, были переведены на другие языки и положены на музыку. В книге представлены избранные произведения, написанные в разные годы жизни и тщательно отобранные автором для этого издания.

Содержание

Первое впечатление	10
«Что делать с первым впечатленьем?..»	10
«Когда я очень затоскую...»	11
Вводные слова	12
«Два мальчика, два тихих обормотика...»	13
Готовальня	15
Осень	17
Графин	18
Ваза	19
«Душа – таинственный предмет...»	21
Ночной дозор	22
«Декабрьским утром черно-синим...»	22
«О здание Главного штаба!..»	24
Старик	25
Шашки	27
«Бог семейных удовольствий...»	28
Велосипедные прогулки	30
«Уехав, ты выбрал пространство...»	32
Гофман	33
«Удивляясь галоп...»	35
«Я в плохо проветренном зале...»	37
«Но и в самом легком дне...»	39
Памяти Ахматовой	40

Приметы	41
«То, что мы зовем душой...»	41
«Нет, не одно, а два лица...»	43
«Среди знакомых ни одна...»	44
Разговор	45
«Он встал в ленинградской квартире...»	46
Поклонение волхвов	47
Два голоса	49
«Жить в городе другом – как бы не жить...»	51
«Вижу, вижу спозаранку...»	52
Венеция	53
«Четко вижу двенадцатый век...»	54
Сирень	55
«Казалось бы, две тьмы...»	56
«Жизнь чужую прожив до конца...»	57
«На Мойке жил один старик...»	58
«Зачем Ван Гог вихребразный...»	59
«Читая шинельную оду...»	60
Буквы	62
«И если в ад я попаду...»	64
«Скатерть, радость, благодать!..»	65
Письмо	66
«Эти вечные счета, расчеты, долги...»	66
«Снег подлетает к ночному окну...»	68
Сон	70
«Человек привыкает...»	73

«Конверт какой-то странный, странный...»	74
ЛАВР	76
«Ну прощай, прощай до завтра...»	78
«Я к ночным облакам за окном присмотрюсь...»	79
«Расположение вещей...»	80
«Женский, легкий, веселый затылок...»	81
«Уходит лето. Ветер дует так...»	82
«О слава, ты так же прошла за дождями...»	83
Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки...	85
Наши поэты	89
Прямая речь	90
Два голоса	90
«Быть нелюбимым! боже мой!...»	92
«Показалось, что горе прошло...»	93
«Возьми меня, из этих комнат вынь...»	94
«Прощай, любовь!...»	95
В кафе	99
«В тот год я жил дурными новостями...»	101
«Исследовав, как Критский лабиринт...»	102
Голос	104
«Слово «нервный» сравнительно поздно...»	104
«Времена не выбирают»	106
«Заснешь и проснешься в слезах от печального сна...»	108
«Сквозняки по утрам в занавесках и	109

шторах...»	
«Придешь домой, шурша плащом...»	111
«Любил – и не помнил себя, пробудясь»	113
Куст	115
«Какое чудо, если есть...»	116
Пиры	117
«Быть классиком – значит стоять на шкафу...»	119
«Ребенок ближе всех к небытию...»	120
«Контрольные. Мрак за окном фиолетов...»	121
Сложив крылья	123
«Сентябрь выметает широкой метлой»	126
Конец ознакомительного фрагмента.	127

Александр Кушнер

«То, что мы зовем душой...»: избранные стихотворения

В оформлении обложки использованы картины Азата Галимова и фотография из личного архива автора.

© А. С. Кушнер, 2023

© А. Х. Галимов, картины, 2023

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

* * *

Любой разговор о кушнеровской родословной кажется мне не столь существенным. Для поэта его масштаба нет необходимости украшать свою комнату портретами Пушкина, Фета, Анненского и Кузмина. Но возможно, кое-что следует объяснить в прихожей: поэтика Кушнера есть, несомненно, сочетание поэтики «гармонической школы» и акмеизма. В наше время, сильно загаженное дурно понятым модернизмом, выбор этих средств свидетельствует не только о душевной

твердости их выбравшего, он указывает прежде всего на органическую естественность для русской поэзии самих этих средств... Я бы даже сказал, что Кушнер средства эти выбирал, но они выбрали Кушнера, чтобы продемонстрировать в сгущающемся хаосе способность языка и вытнотности, сознания – к трезвости, зрения – к ясности, слуха – к точности.

Иосиф Бродский

Вместо пьянящей готовности к смерти с «точкой пули» в конце его поэзия напоена спокойной готовностью к жизни, к счастливой жизни! Неслыханным, несносным для искусства душевным равновесием, «опрятностью», как заметила Белла Ахмадулина, веет от его поздних книг – еще сильнее, чем от ранних.

Андрей Арьев

Поэзия Александра Кушнера... не только убеждает человека в возможности счастья («О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка, шелка нежней, бархатистого склона покатай!..»), она и сама вносит счастье в мир. Она учит нас по-новому видеть окружающее. И чем шире простирается содержание поэзии, захватившей нас, тем богаче наш опыт, тем богаче наша жизнь, тем она значительнее и... радостнее...

Дмитрий Лихачев

Кушнер – поэт жизни, во всех ее сложнейших проявлениях. И в этом одно из самых притягательных

свойств его поэзии.

Дмитрий Лихачев

Вразрез с господствующей традицией лирики Кушнер пишет о счастливой любви. Стихи Кушнера рассказывают о счастье жизни и не утихающей за него тревоге.

Лидия Гинзбург

Для русских читателей имя Кушнера – это шифр, код, даже больше: это личное переживание.

Людмила Петрушевская

Поэзия суть существование души, ищущее себе выхода в языке, и Александр Кушнер тот случай, когда душа обретает выход.

Иосиф Бродский

Первое впечатление 1962

«Что делать с первым впечатленьем?..»

Что делать с первым впечатленьем?

Оно смущает и томит.

Оно граничит с удивленьем

И ни о чем не говорит.

Оно похоже на границу, —

И все как будто бы за ней

Трава иначе серебрится,

А клюква слаще и крупней.

Что делать с первым впечатленьем

В последующие часы?

Оно проходит дуновеньем

Чужой печали и красы.

И повторится вряд ли снова,

И проживет не много дней,

Но настоящего, второго,

Оно и ярче, и милей.

«Когда я очень затоскую...»

Когда я очень затоскую,
Достану книжку записную,
И вот ни крикнуть, ни вздохнуть —
Я позвоню кому-нибудь.
О голоса моих знакомых!
Спасибо вам, спасибо вам
За то, что вы бывали дома
По непробудным вечерам,
За то, что в трудном переплете
Любви и горя своего
Вы забывали, как живете,
Вы говорили: «Ничего».
И за обычными словами
Была такая доброта,
Как будто Бог стоял за вами
И вам подсказывал тогда.

Вводные слова

Возьмите вводные слова.
От них кружится голова,
Они мешают суть сберечь
И замедляют нашу речь.
И все ж удобны потому,
Что выдают легко другим,
Как мы относимся к тому,
О чем, смущаясь, говорим.
Мне скажут: «К счастью...»

И потом

Пусть что угодно говорят,
Я слушаю с открытым ртом
И радуюсь всему подряд.
Меня, как всех, не раз, не два
Спасали вводные слова,
И чаще прочих среди них
Слова «во-первых, во-вторых».
Они, начав издалека,
Давали повод не спеша
Собраться с мыслями, пока
Бог знает где была душа.

«Два мальчика, два тихих обормотика...»

А. Битову

Два мальчика, два тихих обормотика,
ни свитера,
ни плащика,
ни зонтика,
под дождичком

на досточке

качаются,

а песенки у них уже кончаются.

Что завтра? Понедельник или пятница?

Им кажется, что долго детство тянется.

Поднимется один,

другой опустится.

К плечу прибилась бабочка

капустница.

Качаются весь день с утра и до ночи.

Ни горя,

ни любви,

ни мелкой сволочи.

Всё в будущем,

за морем одуванчиков.

Мне кажется, что я – один из мальчиков.

А за окном шептались Музы,
Все девять, споря обо мне...

Осень

Деревья листву отряхают,
И солнышко сходит на нет.
Всю осень грустят и вздыхают
Полонский, и Майков, и Фет.
Всю осень, в какую беседку
Ни сунься – мелькают впотьмах
Их брюки в широкую клетку,
Тяжелые трости в руках.
А тут, что ни день, перемены:
Слетает листок за листком.
И снова они современны
С безумным своим шепотком.
Как штопор, вонзится листочек
В прохладный и рыхлый песок —
Как будто не вытянул летчик,
Неправильно взял, на глазок.
Охота к делам пропадает,
И в воздухе пахнет зимой.
«Мой сад с каждым днем увядает».
И мой увядает! И мой!

Графин

Вода в графине – чудо из чудес,
Прозрачный шар, задержанный в паденье!
Откуда он? Как очутился здесь?
На столике, в огромном учрежденье?
Какие предрассветные сады
Забыли мы и помним до сих пор мы?
И счастлив я способностью воды
Покорно повторять чужие формы.
А сам графин плывет из пустоты,
Как призрак льдин, растаявших однажды,
Как воплощенье горестной мечты
Несчастливых тех, что умерли от жажды.
Что делать мне? Отпить один глоток,
Подняв стакан? И почувствовать при этом,
Как подступает к сердцу холодок
Невыносимой жалости к предметам?
Когда сотрудница заговорит со мной,
Вздохну, но это не ее заслуга.
Разделены невидимой стеной,
Вода и воздух смотрят друг на друга.

Ваза

На античной вазе выступает
Человечков дивный хоровод.
Непонятно, кто кому внимает,
Непонятно, кто за кем идет.

Глубока старинная насечка,
Каждый пляшет и чему-то рад.
Среди них найду я человечка
С головой, повернутой назад.

Он высоко ноги поднимает,
Он вперед стремительно летит,
Но как будто что-то вспоминает
И назад, как в прошлое, глядит.

Что он видит? Горе неуместно.
То ли машет милая рукой,
То ли друг взывает – неизвестно!
Потому и грустный он такой.

Старый мастер, резчик по металлу,
Жизнь мою в рисунок разверни, —
Я пойду кружиться до отвалу
И плясать не хуже, чем они.
И в чужие вслушиваться речи,

И под бубен прыгать невпопад,
Как печальный этот человечек
С головой, повернутой назад.

«**Душа – таинственный предмет...»**»

Душа – таинственный предмет.

И если есть душа, то все же

Она не с крылышками, нет!

Она на колбочку похожа.

Прозрачна так же и чиста

И, как она, шарообразна.

Пар на морозе изо рта

Ее очерчивает ясно.

Сжимаясь ночью от обид,

Она весь день в огне проводит.

В ней вечно что-нибудь кипит,

И булькает, и происходит:

Взрывается и гаснет вновь,

Откладывается на стенки.

И получается любовь,

И боль, и радость, и оттенки.

Ночной дозор 1966

«Декабрьским утром черно-синим...»

Декабрьским утром черно-синим
Тепло домашнее покинем
И выйдем молча на мороз.
Киоск фанерный льдом зарос,
Уходит в небо пар отвесный,
Деревья бьет сырая дрожь,
И ты не дремлешь, друг прелестный,
А щеки варежкой трешь.

Шел ночью снег. Скребут скребками.
Бегут кто тише, кто быстрее.
В слезах, под теплыми платками,
Пронесят сонных малышей.
Как не похожи на прогулки
Такие выходы к реке!
Мы дронем в темном переулке
На ленинградском сквозняке.

И я усилием привычным

Вернуть стараюсь красоту
Домам, и скверам безразличным,
И пешеходу на мосту.
И пропускаю свой автобус,
И замерзаю, весь в снегу,
Но жить, покуда этот фокус
Мне не удался, не могу.

«О здание Главного штаба!..»

О здание Главного штаба!
Ты желтой бумаги рулон,
Размотанный слева направо
И вогнутый, как небосклон.

О море чертежного глянца!
О неба холодная высь!
О, вырвись из рук итальянца
И в трубочку снова свернись.

Под плащ его серый, под мышку.
Чтоб рвался и терся о шов,
Чтоб шел итальянец вприпрыжку
В тени петербургских садов.

Под ветром, на холоде диком,
Едва поглядев ему вслед,
Смекну: между веком и мигом
Особенной разницы нет.

И больше, чем стройные зданья,
В чертах полюблю городских
Веселое это сознание
Таинственной зыбкости их.

Старик

Кто тише старика,
Попавшего в больницу,
В окно издалека
Глядящего на птицу?

Кусты ему видны,
Прижатые к киоску.
Висят на нем штаны
Больничные, в полоску.

Бухгалтером он был
Иль стекла мазал мелом?
Уж он и сам забыл,
Каким был занят делом.

Сражался в домино
Иль мастерил динамик?
Теперь ему одно
Окно, как в детстве пряник.

И дальний клен ему
Весь виден, до прожилок,
Быть может, потому,
Что дышит смерть в затылок.
Вдруг подведут черту

Под ним, как пишут смету,
И он уже – по ту,
А дерево – по эту.

Шашки

Я представляю все замашки
Тех двух за шахматной доской.
Один сказал: «Сыграем в шашки?»
Вы легче справитесь с тоской».

Другой сказал: «К чему поблажки?
Вам не понять моей тоски.
Но если вам угодно в шашки,
То согласитесь в поддавки».

Ах, как легко они играли!
Как не жалели ничего!
Как будто по лесу плутали
Вдали от дома своего.

Что шашки? Взглядом умиленным
Свою скрепляли доброту,
Под стать уступчивым влюбленным,
Что в том же прятались саду.

И в споре двух великодуший
Тот, кто скорее уступал,
Себе, казалось, делал хуже,
Но, как ни странно, побеждал.

«Бог семейных удовольствий...»

Бог семейных удовольствий,
Мирных сценок и торжеств,
Ты, как сторож в садоводстве,
Стар и добр среди божеств.

Поручил ты мне младенца,
Подарил ты мне жену,
Стол, и стул, и полотенце,
И ночную тишину.

Но голландского покроя
Мастерство и благодать
Не дают тебе покоя
И мешают рисовать.

Так как знаем деньгам цену,
Ты рисуешь нас в трудах,
А в уме лелеешь сцену
В развлеченьях и цветах.

Ты бокал суешь мне в руку,
Ты на стол швыряешь дичь,
И сажаешь нас по кругу,
И не можешь нас постичь!
Мы и впрямь к столу присядем,

Лишь тебя не убедим,
Тихо мальчика погладим,
Друг на друга поглядим.

Велосипедные прогулки

Велосипедные прогулки!
Шмели и пекло на проселке.
И солнце, яркое на втулке,
Подслеповатое – на елке.

И свист, и скрип, и скрежетанье
Из всех кустов, со всех травинок,
Колес приятное мельканье
И блеск от крылышек и спинок.

Какой высокий зной палящий!
Как этот полдень долго длится!
И свет, и мгла, и тени в чаще,
И даль, и не с кем поделиться.

Есть наслаждение дорогой
Еще в том смысле, самом узком,
Что связан с пылью, и морокой,
И каждым склоном, каждым спуском.

Кто с сатаной по переулку
Гулял в старинном переплете,
Велосипедную прогулку
Имел в виду иль что-то вроде.
Где время? Съехав на запястье,

На ремешке стоит постыдно.
Жара. А если это счастье,
То где конец ему? Не видно.

«Уехав, ты выбрал пространство...»

Уехав, ты выбрал пространство,
Но время не хуже его.
Действительны оба лекарства:
Не вспомнить теперь ничего.
Наверное, мог бы остаться —
И был бы один результат.
Какие-то степи дымятся,
Какие-то тени летят.
Потом ты опомнишься: где ты?
Не важно. Допустим, Джанкой.
Вот видишь: две разные Леты,
А пить все равно из какой.

Гофман

Одну минуточку, я что хотел спросить:
Легко ли Гофману три имени носить?
О, горевать и уставать за трех людей
Тому, кто Эрнст, и Теодор, и Амадей.
Эрнст – только винтик, канцелярии юрист,
Он за листом в суде марает новый лист,
Не рисовать, не сочинять ему, не петь —
В бюрократической машине той скрипеть.

Скрипеть, потеть, смягчать кому-то приговор.
Куда удачливее Эрнста Теодор.
Придя домой, преодолевая боль в плече,
Он пишет повести ночами при свече.
Он пишет повести, а сердцу все грустней.
Тогда приходит к Теодору Амадей,
Гость удивительный и самый дорогой.
Он, словно Моцарт, машет в воздухе рукой.

На Фридрихштрассе Гофман кофе пьет и ест.
«На Фридрихштрассе», – говорит тихонько
Эрнст.
«Ах нет, направо!» – умоляет Теодор.
«Идем налево, – оба слышат, – и во двор».
Играет флейта еле-еле во дворе,
Как будто школьник водит пальцем в букваре,

«Но все равно она, – вздыхает Амадей, —
Судебных записей милей и повестей».

«Удивляясь галоп...»

Удивляясь галопу
Кочевых табунов,
Хоронили Европу,
К ней любовь поборов.

Сколько раз хоронили,
Славя конскую статью,
Шею лошади в мыле.
И хоронят опять.

Но полощутся флаги
На судах в тесноте,
И дрожит Копенгаген,
Отражаясь в воде,

И блестят в Амстердаме
Цеховые дома,
Словно живопись в раме
Или вечность сама.

Хорошо, на педали
Потихоньку нажав,
В городок на канале
Въехать, к сердцу прижав
Не сплошной, философский,

Но обычный закат,
Бледно-желтый, чуть жесткий,
Золотящий фасад.

Впрочем, нам и не надо
Уезжать никуда,
Вон у Летнего сада
Розовеет вода,

И у каменных лестниц,
Над петровской Невой,
Ты глядишь, европеец,
На закат золотой.

«Я в плохо проветренном зале...»

Я в плохо проветренном зале
На краешке стула сидел
И, к сердцу ладонь прижимая,
На яркую сцену глядел.

Там пели трехслойные хоры,
Квартет баянистов играл,
И лебедь под скорбные звуки
У рампы раз пять умирал.

Там пляску пускали за пляской,
Летела щепка из-под ног —
И я в перерыве с опаской
На круглый взглянул потолок.

Там был нарисован зеленый,
Весь в райских цветах небосвод,
И ангелы, за руки взявшись,
Нестройный вели хоровод.

Ходили по кругу и пели.
И вид их решительный весь
Сказал мне, что ждут нас на небе
Концерты не хуже, чем здесь.
И господи, как захотелось

На волю, на воздух, на свет,
Чтоб там не плясало, не пело,
А главное, музыки нет!

«Но и в самом легком дне...»

Но и в самом легком дне,
Самом тихом, незаметном,
Смерть, как зернышко на дне,
Светит блеском разноцветным.
В рощу, в поле, в свежий сад,
Злей хвоща и молочая,
Проникает острый яд,
Сердце тайно обжигая.

Словно кто-то за кустом,
За сараем, за буфетом
Держит перстень над вином
С монограммой и секретом.
Как черна его спина!
Как блестит на перстне солнце!
Но без этого зерна
Вкус не тот, вино не пьется.

Памяти Ахматовой

Поскольку скульптор не снимал
С ее лица посмертной маски,
Лба крутизну, щеки провал
Ты должен сам предать огласке.

Такой на ней был грозный свет
И губы мертвые так сжаты,
Что понял я: прощенья нет!
Отмщенье всем, кто виноваты.

Ее лежание в гробу
На Страшный суд похоже было.
Как будто только что в трубу
Она за ангела трубила.

Неумолима и строга,
Среди заоблачного зала
На неподвижного врага
Одною бровью показала.

А здесь от свечек дым не дым,
Страх совершал над ней облеты.
Или нельзя смотреть живым
На сны загробные и счеты?

Приметы 1969

«То, что мы зовем душой...»

То, что мы зовем душой,
Что, как облако, воздушно
И блестит во тьме ночной
Своенравно, непослушно
Или вдруг, как самолет,
Тоньше колющей булавки,
Корректирует с высот
Нашу жизнь, внося поправки;
То, что с птицей наравне
В синем воздухе мелькает,
Не сгорает на огне,
Под дождем не размокает,
Без чего нельзя вздохнуть,
Ни глупца простить в обиде;
То, что мы должны вернуть,
Умирая, в лучшем виде, —
Это, верно, то и есть,
Для чего не жаль стараться,
Что и делает нам честь,

Если честно разобраться.
В самом деле хороша,
Бесконечно старомодна,
Тучка, ласточка, душа!
Я привязан, ты – свободна.

«Нет, не одно, а два лица...»

Нет, не одно, а два лица,
Два смысла, два крыла у мира.
И не один, а два отца
Взывают к мести у Шекспира.

В Лаэрте Гамлет видит боль,
Как в перевернутом бинокле.
А если этот мальчик – моль,
Зачем глаза его намокли?

И те же складочки у рта,
И так же вещи дома жгутся.
Вокруг такая теснота,
Что невозможно повернуться.

Ты так касаешься плеча,
Что поворот вполоборота,
Как поворот в замке ключа,
Приводит в действие кого-то.

Отходит кто-то второпях,
Поспешно кто-то руку прячет,
И, оглянувшись, весь в слезах,
Ты видишь: рядом кто-то плачет.

«Среди знакомых ни одна...»

Среди знакомых ни одна
Не бросит в пламя денег пачку,
Не пошатнется, впад в горячку,
В дверях, бледнее полотна.
В концертный холод или сквер,
Разогреваясь понемногу,
Не пронесет, и слава богу,
Шестизарядный револьвер.

Я так и думал бы, что бред
Все эти тени роковые,
Когда б не туфельки шальные,
Не этот, издали, привет.
Разят дешевые духи,
Не хочет сдержанности мудрой,
Со щек стирает слезы с пудрой
И любит жуткие стихи.

Разговор

Мне звонят, говорят: – Как живете?

– Сын в детсаде. Жена на работе.

Вот сижу, завернувшись в халат.

Дум не думаю. Жду: позвонят.

А у вас что? Содом? Суматоха?

– И у нас, – отвечает, – неплохо.

Муж уехал. – Куда? – На восток.

Вот сижу, завернувшись в платок.

– Что-то нынче и вправду не топят.

Или топливо на зиму копят?

Ну и мрак среди белого дня!

Что-то нынче нашло на меня.

– И на нас, – отвечает, – находит.

То ли жизнь в самом деле проходит,

То ли что... Я б зашла... да потом

Будет плохо. – Спасибо на том.

«Он встал в ленинградской квартире...»

Он встал в ленинградской квартире,
Расправив среди тишины
Шесть крыл, из которых четыре,
Я знаю, ему не нужны.

Вдруг сделалось пусто и звонко,
Как будто нам отперли зал.
— Смотри, ты разбудишь ребенка! —
Я чудному гостю сказал.

Вот если бы легкие ночи,
Веселость, здоровье детей...
Но кажется, нет средь пророчеств
Таких несерьезных статей.

Поклонение волхвов

В одной из улочек Москвы,
Засыпанной метелью,
Мы наклонялись, как волхвы,
Над детской колыбелью.

И что-то, словно ореол,
Поблескивало тускло,
Покуда ставились на стол
Бутылки и закуска.

Мы озирали полумглу
И наклонялись снова.
Казалось, шурились в углу
Теленок и корова.

Как будто Гуго ван дер Гус
Нарисовал всё это:
Волхвов, хозяйку с ниткой бус,
В дверях полоску света.

И вообще такой покой
На миг установился:
Не страшен Ирод никакой,
Когда бы он явился.
Весь ужас мира, испокон

Стоящий в отдаленье,
Как бы и впрямь заморожен,
Подался на мгновенье.

Под стать библейской старине
В ту ночь была Волхонка.
Снежок приветствовал в окне
Рождение ребенка.

Оно собрало нас сюда
Проулками, садами,
Сопровождаясь, как всегда,
Простыми чудесами.

Два голоса

Озирая потемки,
расправляя рукой
с узелками тесемки
на подушке сырой,
рядом с лампочкой
синей не засну в полутьме
на дорожной перине,
на казенном клейме.

– Ты, дорожные знаки
подносящий к плечу,
я сегодня во мраке,
как твой ангел, лечу.
К моему изголовью
подступают кусты.
Помоги мне! С любовью
не справляюсь, как ты.

– Не проси облегченья
от любви, не проси.
Согласись на мученье
и губу прикуси.
Бодрствуй с полночью
вместе, не мечтай разлюбить.
Я тебе на разъезде

посвечу, так и быть.

– Ты, фонарь подносящий,
как огонь к сургучу,
я над речкой и чашей,
как твой ангел, лечу.
Синий свет худосочный,
отраженный в окне,
вроде жилки височной,
не погасшей во мне.

– Не проси облегченья
от любви, его нет.
Поздней ночью – свеченье,
днем – сиянье и свет.
Что весной развлеченье,
тяжкий труд к декабрю.
Не проси облегченья
от любви, говорю.

«Жить в городе другом – как бы не жить...»

Жить в городе другом – как бы не жить.
При жизни смерть дана, зовется – расстоянье.
Не торопи меня. Мне некуда спешить.
Летит вагон во тьму. О, смерти нарастанье!

Какое мне письмо докажет: ты жива?
Мне кажется, что ты во мраке таешь, таешь.
Беспомощен привет, бессмысленны слова.
Тебя в разлуке нет, при встрече – оживаешь.

Гремят в промозглой мгле бетонные мосты.
О ком я так томлюсь, в тоске ломая спички?
Теперь любой пустяк действительней, чем ты:
На столике стакан, на летчике петлички.

На свете, где и так всё держится едва,
На ниточке висит, цепляется, вот рухнет,
Кто сделал, чтобы ты жива и нежива
Была, как тот огонь: то вспыхнет, то потухнет?

«Вижу, вижу спозаранку...»

Вижу, вижу спозаранку
Устремленные в Неву
И Обводный, и Фонтанку,
И похожую на склянку
Речку Кронверку во рву.

И каналов без уздечки
Вижу утреннюю прыть,
Их названья на дощечке,
И смертельной Черной речки
Ускользящую нить.

Слышу, слышу вздох неловкий,
Плач по жизни прожитой,
Вижу Екатерингофки
Блики, отблески, подковки
Жирный отсвет нефтяной.

Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.

Венеция

Венеция, когда ты так блестяшь,
Как будто я тебя и вправду вижу,
И дохлую в твоём канале мышь,
И статую, упрятанную в нишу, —

Мне кажется, во дворик захожу.
Свисает с галереи коврик. Лето.
Стоит монах. К второму этажу
С тряпьем веревку поднял Каналетто.

Нет, Тютчев это мне тебя напел.
Наплел. Нет, это Блок тебя навеял.
Нет, это сам я фильм такой смотрел:
Француз вояж в Италию затеял.

Дурак француз, в двубортном пиджачке.
Плеск голубей. Собор Святого Марка.
О, как светло! Крутись на каблучке.
О, как светло, о, смилуйся, как ярко!

«Четко вижу двенадцатый век...»

Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь – там услышат твой голос.
Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.

А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дожждаться письма.
Даром волны шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан?
Или ласточек нет, дорогая?

Сирень

Фиолетовой, белой, лиловой,
Ледяной, голубой, бестолковой
Перед взором предстанет сирень.
Летний полдень разбит на осколки,
Острых листьев блестят треуголки,
И, как облако, стелется тень.

Сколько свежести в ветви тяжелой,
Как стараются важные пчелы,
Допотопная блещет краса!
Но взглядишь в эти вспышки и блески:
Здесь уже побывал Кончаловский,
Трогал кисти и шурил глаза.

Тем сильнее у забора с канавкой
Восхищение наше, с поправкой
На тяжелый музейный букет,
Нависающий в желтой плетенке
Над столом, и две грозди в сторонке,
И от локтя на скатерти след.

«Казалось бы, две тьмы...»

Казалось бы, две тьмы,
В начале и в конце,
Стоят, чтоб жили мы
С теньями на лице.

Но несравним густой
Мрак, свойственный гробам,
С той дружелюбной тьмой,
Предшествовавшей нам.

Я с легкостью смотрю
На снимок давних лет.
«Вот кресло, – говорю, —
Меня в нем только нет».

Но с ужасом гляжу
За черный тот предел,
Где кресло нахожу,
В котором я сидел.

«Жизнь чужую прожив до конца...»

Жизнь чужую прожив до конца,
Умерев в девятнадцатом веке,
Смертный пот вытирая с лица,
Вижу мельницы, избы, телеги.

Биографии тем и сильны,
Что обнять позволяют за сутки
Двух любовниц, двух жен, две войны
И великую мысль в промежутке.

Пригождайся нам, опыт чужой,
Свет вечерний за полостью пыльной,
Тишина, пять-шесть строф за душой
И кусты по дороге из Вильны.

Даже беды великих людей
Дарят нас прибавлением жизни,
Звездным небом, рысцой лошадей
И вином, при его дешевизне.

«На Мойке жил один старик...»

На Мойке жил один старик.
Я представляю горы книг.
Он знал того, он знал другого.
Но все равно, не потому
Приятель звал меня к нему
Меж делом, бегло, бестолково.

А потому, что, по словам
Приятеля, обоим нам
Была бы в радость встреча эта.
– Вы б столкнувались в тот же миг:
Одна печаль, один язык
И тень забытого поэта!

Я собирался много раз,
Но дождь, дела и поздний час,
Я мрачен, он нерасположен.
И вот я слышу: умер он.
Визит мой точно отменен.
И кто мне скажет, что отложен?

«Зачем Ван Гог вихреобразный...»

Зачем Ван Гог вихреобразный
Томит меня тоской неясной?
Как желт его автопортрет!
Перевязав больное ухо,
В зеленой куртке, как старуха,
Зачем глядит он мне вослед?

Зачем в кафе его полночном
Стоит лакей с лицом порочным?
Блестит бильярд без игроков?
Зачем тяжелый стул поставлен
Так, что навек покой отравлен,
Ждешь слез и стука башмаков?

Зачем он с ветром в крону дует?
Зачем он доктора рисует
С нелепой веточкой в руке?
Куда в косом его пейзаже
Без седока и без поклажи
Спешит коляска налегке?

«Читая шинельную оду...»

Читая шинельную оду
О свойствах огромной страны,
Меняющей быт и погоду
Раз сто до китайской стены,
Представил я реки, речушки,
Пустыни и Берингов лед —
Все то, что зовется: от Кушки
До Карских студеных Ворот.

Как много от слова до слова
Пространства, тоски и судьбы!
Как ветра и снега от Львова
До Обской холодной губы.
Так вот что стоит за плечами
И дышит в затылок, как зверь,
Когда ледяными ночами
Не спишь и косишься на дверь.

Большая удача – родиться
В такой беспримерной стране.
Воистину есть чем гордиться,
Вперяясь в просторы в окне.
Но силы нужны и отвага
Сидеть под таким сквозняком!
И вся-то защита – бумага

Да лампа над тесным столом.

Буквы

В латинском шрифте, видим мы,
Сказались римские холмы
И средиземных волн барашки,
Игра чешуек и колец.
Как бы ползут стада овец,
Пастух вино сосет из фляжки.

Зато грузинский алфавит
На черепки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман —
Илья, Паоло, Тициан
Собирают круглые осколки.

А в русских буквах «же» и «ша»
Живет размашисто душа,
Метет метель, шумя и пенясь.
В кафтане бойкий ямщикоч,
Удал, хмелен и краснощек,
Лошадкой правит, подбоченясь.

А вот немецкая печать,
Так трудно буквы различать,
Как будто марбургские крыши.
Густая готика строки.

Ночные окрики, шаги.
Не разбудить бы! Тише! тише!

Летит еврейское письмо.
Куда? – Не ведает само,
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй... Ну что ты? Что ты?

«И если в ад я попаду...»

И если в ад я попаду,
Есть наказание в аду
И для меня: не лед, не пламя!
Мгновенья те, когда я мог
Рискнуть, но стыл и тер висок,
Опять пройдут перед глазами.

Все счастье, сколько упустил,
В саду, в лесу и у перил,
В пути, в гостях и темном море...
Есть казнь в аду таким, как я:
То рай прошедшего житья,
Тоска о смертном недоборе.

«Скатерть, радость, благодать!..»

Скатерть, радость, благодать!
За обедом с проволочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой.

Боже мой! Еще живу!
Все могу еще потрогать
И каемку, и канву,
И на стол поставить локоть!

Угол скатерти в горсти.
Даже если это слабость,
О бессмыслица, блести!
не кончайся, скатерть, радость!

Письмо 1974

«Эти вечные счета, расчеты, долги...»

Эти вечные счета, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики.
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом – расходы.
То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный – зато и презренный металл.
Или рощу сажал и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?
Эта жизнь так нелепо и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бегают, наоборот!
Свет осенний и зыбкий.
Под высокими окнами, бурей гоним,
Мчится клен, и высоко взлетают над ним
Медных листьев тройчатки.

К этим сотням и тысячам круглым твоим
Приплюсуем десятки.

Снова дикая кошка бежит по пятам,
Приближается время платить по счетам,
Всё страшней ее взгляды:
Забегает вперед, прижимает к кустам —
И не будет пощады.

Все равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому что свежа!
И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!

«Снег подлетает к ночному окну...»

Снег подлетает к ночному окну,
Вьюга дымится.
Как мы с тобой угадали страну,
Где нам родиться!

Вьюжная. Ватная. Снежная вся.
Давит на плечи.
Но и представить другую нельзя
Шубу, полегче.

Гоголь из Рима нам пишет письмо,
Как виноватый.
Бритвой почтовое смотрит клеймо
Продолговатой.

Но и представить другое нельзя
Поле, поуже.
Доблести, подлости, горе, семья,
Зимы и дружбы.

И англичанин, что к нам заходил,
Строгий, как вымпел,
Не понимал ничего, говорил
Глупости, выпив.
Как на дитя, мы тогда на него

С грустью смотрели.
И доставали плеча твоего
Крылья метели.

Сон

Я ли свой не знаю город?
Дождь пошел. Я поднял ворот.
Сел в трамвай полупустой.
От дороги Турухтанной
По Кронштадтской... вид туманный...
Стачек, Трефолева... стой!

Как по плоскости наклонной,
Мимо темной Оборонной.
Все смешалось... не понять...
Вдруг трамвай свернул куда-то,
Мост, канал, большого сада
Темень, мост, канал опять.

Ничего не понимаю!
Слева тучу обгоняю,
Справа в тень ее вхожу,
Вижу пасмурную воду,
Зелень, темную с исподу,
Возвращаюсь и кружу.

Чья ловушка и причуда?
Мне не выбраться отсюда!
Где Фонтанка? Где Нева?
Если это чья-то шутка,

Почему мне стало жутко
И слабеет голова?

Этот сад меня пугает,
Этот мост не так мелькает,
И вода не так бежит,
И трамвайный бег бесстрастный
Приобрел уклон опасный,
И рука моя дрожит.

Вид у нас какой-то сирый.
Где другие пассажиры?
Было ж несколько старух!
Никого в трамвае нету.
Мы похожи на комету,
И вожатый слеп и глух.

Вровень с нами мчатся рядом
Все, кому мы были рады
В прежней жизни дорогой.
Блещут слезы их живые,
Словно капли дождевые.
Плачут, машут нам рукой.

Им не видно за дождями,
Сколько встало между нами
Улиц, улочек и рек.
Так привозят в парк трамвайный
Не заснувшего случайно,

А уснувшего навек.

«Человек привыкает...»

Человек привыкает
Ко всему, ко всему.
Что ни год получает
По письму, по письму.

Это в белом конверте
Ему пишет зима.
Обещанье бессмертья —
Содержанье письма.

Как красив ее почерк!
Не сказать никому.
Он читает листочек
И не верит ему.

Зимним холодом дышит
У реки, у пруда.
И в ответ ей не пишет
Никогда, никогда.

«Конверт какой-то странный, странный...»

Конверт какой-то странный, странный,
Как будто даже самодельный,
И штемпель смазанный, туманный,
С пометкой давности недельной,
И марка странная, пустая,
Размытый образ захолустья:
Ни президента Уругвая,
Ни Темзы, – так, какой-то кустик.
И буква к букве так теснятся,
Что почерк явно засекречен.
Внизу, как можно догадаться,
Обратный адрес не помечен.
Тихонько рву конверт по краю
И на листе бумаги плотном
С трудом по-русски разбираю
Слова в смятенье безотчетном.
«Мы здесь собрались кругом тесным
Тебя заверить в знак вниманья
В размытом нашем, повсеместном,
Ослабленном существованье.
Когда ночами (бред какой-то!)
Воюет ветер с темным садом,
О всех не скажем, но с тобой-то,

Молчи, не вздрагивай, мы рядом.
Не спи же, вглядывайся зорче,
Нас различай поодиночке».
И дальше почерк неразборчив,
Я пропускаю две-три строчки.
«Прощай! Чернила наши блеклы,
А почта наша ненадежна,
И так в саду листва намокла,
Что шага сделать невозможно».

ЛАВР

А. Битову

Не помнит лавр вечнозеленый,
Что Дафной был и бог влюбленный
Его преследовал тогда;
К его листве остроконечной
Подносит руку первый встречный
И мнет, не ведая стыда.

Не помнит лавр вечнозеленый,
И ты не помнишь, утомленный
Путем в Батум из Кобулет,
Что кустик этот глянцевитый,
Цветами желтыми увитый,
Еще Овидием воспет.

Выходит дождик из тумана,
Несет дымком из ресторана,
И Гоги в белом пиджаке
Не помнит, сдал с десятки сдачу
Иль нет... а лавр в окне маячит...
А сдача – вот она, в руке.

Какая долгая разлука!
И блекнет память, и подруга

Забыла друга своего,
И ветвь безжизненно упала,
И море плещется устало,
Никто не помнит ничего.

«Ну прощай, прощай до завтра...»

Ну прощай, прощай до завтра,
Послезавтра, до зимы.
Ну прощай, прощай до марта.
Зиму порознь встретим мы.

Порознь встретим и проводим.
Ну прощай до лучших дней.
До весны. Глаза отводим.
До весны. Еще поздней.

Ну прощай, прощай до лета.
Что ж перчатку теребить?
Ну прощай до как-то, где-то,
До когда-то, может быть.

Что ж тянуть, стоять в передней.
Да и можно ль быть точней?
До черты прощай последней,
До смертельной. И за ней.

«Я к ночным облакам за окном присмотрюсь...»

Я к ночным облакам за окном присмотрюсь,
Отодвинув суровую штору.
Был я счастлив – и смерти боялся. Боюсь
И сейчас, но не так, как в ту пору.

Умереть – это значит шуметь на ветру
Вместе с кленом, глядящим понуро.
Умереть – это значит попасть ко двору
То ли Ричарда, то ли Артура.

Умереть – расколоть самый твердый орех,
Все причины узнать и мотивы.
Умереть – это стать современником всех,
Кроме тех, кто пока еще живы.

«Расположение вещей...»

Расположение вещей
На плоскости стола,
И преломление лучей,
И синий лед стекла.

Сюда – цветы, тюльпан и мак,
Бокал с вином – туда.
«Скажи, ты счастлив?» – «Нет». —
«А так?» —
«Почти». – «А так?» – «О да!»

«Женский, легкий, веселый затылок...»

Женский, легкий, веселый затылок
На моей отдыхает руке.
Ведь не кукла, и не из опилок,
И румянец на влажной щеке.

Как две бабочки, дрогнули веки.
Как же мало я знаю о ней!
Годы, улицы, книги и реки,
Целый мир на ладони моей!

Целый мир, воздвигавшийся где-то
Далеко от меня, в стороне.
И доверчивость сонная эта
Что-то резко меняет во мне.

А на кресле лежащее платье
Так спит среди блесков дневных...
Как все странно: и эти объятия,
И такая любовь после них!

«Уходит лето. Ветер дует так...»

Уходит лето. Ветер дует так,
Что кажется, не лето, – жизнь уходит,
И ежится, и ускоряет шаг,
И плечиком от холода поводит.

По пням, по кочкам, прямо по воде.
Ей зимние не по душе заботы.
Где дом ее? Ах, боже мой, везде!
Особенно где синь и пароходы.

Уходит свет. Уходит жизнь сама.
Прислушайся в ночи: любовь уходит,
Оставив осень в качестве письма,
Где доводы последние приводит.

Уходит муза. С кленов, с тополей
Летит листва, летят ей вслед стрекозы.
И женщины уходят все быстрее,
Почти бегом, опережая слезы.

«О слава, ты так же прошла за дождями...»

О слава, ты так же прошла за дождями,
Как западный фильм, не увиденный нами,
Как в парк повернувший последний трамвай, —
Уже и не надо. Не стоит. Прощай!

Сломалась в дороге твоя колесница,
На юг улетела последняя птица,
Последний ушел из Невы теплоход.
Я вышел на Мойку: зима настанет.

Нас больше не мучит желание славы,
Другие у нас представленья и нравы,
И милая спит, и в ночной тишине
Пусть ей не мешает молва обо мне.

Снежок выпадает на город туманный.
Замерз на афише концерт фортепьянный.
Пружины дверной глуховатый щелчок.
Последняя рифма стучится в висок.

Простимся без слов, односложно и сухо.
И музыка медленно выйдет из слуха,
Как после купанья вода из ушей,

Как маленький, теплый, щекотный ручей.

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки...

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки,
У стриженных лип на виду,
Глотая туманный и стойкий
Бензинный угар на ходу,
Меж Марсовым полем и садом
Михайловским, мимо былых
Конюшен, широким обхватом
Державших лошадок лихих.

Пойдем же! Чем больше названий,
Тем стих достоверней звучит,
На нем от решеток и зданий
Тень так безупречно лежит.
С тыняновской точной подсказкой
Пойдем же вдоль стен и колонн,
С лексической яркой окраской
От собственных этих имен.

Пойдем по дуге, по изгибу,
Где плоская, в пятнах, волна
То тучу качает, как рыбу,
То с вазами дом Фомина,
Пойдем мимо пушкинских окон,

Музейных подобранных штор,
Минуем Капеллы широкой
Овальный, с афишами, двор.

Вчерашние лезут билеты
Из урн и подвальных щелей.
Пойдем, как по берегу Леты,
Вдоль окон пойдем и дверей,
Вдоль здания Главного штаба,
Его закулисной стены,
Похожей на желтого краба
С клешней непомерной длины.

Потом через Невский, с разбегу,
Всё прямо, не глядя назад,
Пойдем, заглядевшись на реку
И Строганов яркий фасад,
Пойдем, словно кто-то однажды
Уехал иль вывезен был
И умер от горя и жажды
Без этих колонн и перил.

И дальше, по левую руку
Узнав Воспитательный дом,
Где мы проходили науку,
Вдоль черной ограды пойдем,
И, плаваясь на шпиле от солнца,
Пускай в раздвижных небесах
Корабль одинокий несется,

Несется на всех парусах.

Как ветром нас тянет и тянет.
Длинноты в стихах не любя,
Ты шепчешь: читатель устанет! —
Не бойся, не больше тебя!
Он, ветер вдыхая холодный,
Не скажет тебе, может быть,
Где счастье прогулки свободной
Ему помогли полюбить.
Пойдем же по самому краю
Тоски, у зеленой воды,
Пойдем же по аду и раю,
Где нет между ними черты,
Где памяти тянется свиток,
Развернутый в виде домов,
И столько блаженства и пыток,
Двузначных больших номеров.
Дом Связи – как будто коробка
И рядом еще коробок.
И дом, где на лестнице робко
Я дергал висячий звонок.
И дом, где однажды до часу
В квартире чужой танцевал.
И дом, где я не был ни разу,
А кажется, жил и бывал.
Ну что же? Юсуповский желтый
Остался не назван дворец
Да словно резинкой подтертый

Голландии Новой багрец.
Любимая! Сколько упорства,
Обид и зачеркнутых строк,
Отчаянья, противоборства
И гребли, волнам поперек!
Твою ненаглядную руку
Так крепко сжимая в своей,
Я всё отодвинуть разлуку
Пытаюсь, но помню о ней...
И может быть, это сверканье
Листвы, и дворцов, и реки
Возможно лишь в силу страданья
И счастья, ему вопреки!

Наши поэты

Конечно, Баратынский схематичен.
Бесстильность Фета всякому видна.
Блок по-немецки втайне педантичен.
У Анненского в трауре весна.
Цветаевская фанатична муза.
Ахматовой высокопарен слог.
Кузмин манерен. Пастернаку вкуса
Недостает: болтливость – вот порок.
Есть вычурность в строке у Манделъштама.
И Заболоцкий в сердце скуповат...
Какое счастье – даже панорама
Их недостатков, выстроенных в ряд!

Прямая речь 1975

Два голоса

«Увези меня в Тулу, Туву,
Симферополь, Великие Луки.
Увези меня, там оживу,
Там меж нами не будет разлуки.
Увези меня в Нижний Тагил,
Где не надо встречаться украдкой.
Сколько горя ты мне причинил,
Сколько горького счастья с оглядкой!»

«Я не знаю, откуда диктант
Нам диктует судьба без просвета,
Но классический есть вариант
Этой формулы старой – край света.
Он везде, на диване любом,
На бездарной бульварной скамейке,
Где сидим мы с тобою вдвоем,
Ухватившись руками за рейки».

«Увези меня в Лугу, во Мгу,
В карту пальцами ткнем наудачу.
Увези. Больше так не могу:

Видишь, губы кусаю и плачу». —
«Что ж, бежим на край света, на край
Этой радости, терпкой и горькой.
Говорю же тебе, выбирай,
Выбирай меж Фонтанкой и Мойкой».

«Быть нелюбимым! боже мой!..»

Быть нелюбимым! боже мой!
Какое счастье быть несчастным!
Идти под дождиком домой
С лицом потерянным и красным.

Какая мука, благодать
Сидеть с закушенной губою,
Раз десять на день умирать
И говорить с самим собою.

Какая жизнь – сходить с ума!
Как тень, по комнате шататься!
Какое счастье – ждать письма
По месяцам – и не дожждаться.

Кто нам сказал, что мир у ног
Лежит в слезах, на всё согласен?
Он равнодушен и жесток.
Зато воистину прекрасен.

Что с горем делать мне моим?
Спи, с головой в ночи укройся.
Когда б я не был счастлив им,
Я б разлюбил тебя, не бойся!

«Показалось, что горе прошло...»

Показалось, что горе прошло
И узлы развязались тугие.
Как-то больше воды утекло
В этот год, чем в другие.

Столько дел надо было кончать,
И погода с утра моросила.
Так что стал я тебя забывать,
Как сама ты просила.

Дождик шел и смывал, и смывал
Безнадежные те отношенья.
Раньше в памяти этот провал
Называли: забвенья.

Лишь бы кончилось, лишь бы не жгло,
Как бы ни называлось.
Показалось, что горе прошло.
Не прошло. Показалось.

«Возьми меня, из ЭТИХ КОМНАТ ВЫНЬ...»

Возьми меня, из этих комнат вынь,
Сдунь с площадей, из-под дворовых арок,
Засунь меня куда-нибудь, задвинь,
Возьми назад бесценный свой подарок!
Смахни совсем. Впиши меня в графу
Своих расходов в щедром мире этом.
Я – чокнутый, как рюмочка в шкафу
Надтреснутая. Но и ты – с приветом!

«Прощай, любовь!..»

Прощай, любовь!
Прощай, любовь, была ты мукой.
Платочек белый приготовь
Перед разлукой
И выуюжь, и скомкай вновь.
Какой пример,
Какой пример для подражання
Мы выберем, какой размер?
Я помню чудное желанье
И пыль гостиничных портьер.
Не помню, жаль.
Не помню, – жаль, оса, впивайся.
Придумать точную деталь
И, приукрася,
Надсаду выдать за печаль?
Сорваться в крик?
Сорваться в крик, в тоске забиться?
Я не привык.
И муза громких слов стыдится.
В окне какой-то писк возник.
Кричит птенец.
Кричит птенец, сломавший шею.
За образец
Прощание по Хемингуэю
Избрать? Простились – и конец?

Он в свитерке,
Он в свитерке по всем квартирам
Висел, с подтекстом в кулаке.
Теперь уже другим кумиром
Сменен, с Лолитой в драмкружке.
Из всех услад,
Из всех услад одну на свете
Г. Г. ценил, раскрыв халат.
Над ним стареющие дети,
Как злые гении, парят.
Прощай, старушка. Этот тон,
Мне этот тон полупристойный
Претит. Ты знаешь, был ли он
Мне свойствен или жест крамольный.
Я был влюблен.
Твоей руки,
Твоей руки рукой коснуться
Казалось счастьем, вопреки
Всем сексуальным революциям.
Прощай. Мы станем старики.
У нас в стране,
У нас в стране при всех обидах
То хорошо, что ветвь в окне,
И вздох, и выдох,
И боль, и просто жизнь – в цене.
А нам с тобой,
А нам с тобой вдвоем дышалось
Вольней, и общею судьбой
Вся эта даль и ширь казалась —

Не только чай и час ночной.

Отныне – врозь.

Припоминаю шаг твой встречный

И хвостик заячий волос.

На волос был от жизни вечной,

Но – сорвалось!

Когда уснем,

Когда уснем смертельным, мертвым,

Без воскрешений, общим сном,

Кем станем мы? Рисунком стертым.

Судьба, других рисуй на нем.

Поэты тем

И тяжелы, что всенародно

Касаются сердечных тем.

Молчу. Мне стыдно. Ты свободна.

На радость всем.

«Любовь свободна. Мир чаруя,

Она законов всех сильнее!».

Певица толстая, ликуя,

Покрыта пудрой, как статуя.

И ты – за ней?

Пускай орет на всю округу.

Считаться – грех.

Помашем издали друг другу.

Ты и сейчас, отдернув руку,
Прекрасней всех!

В кафе

В переполненном, глухо гудящем кафе
Я затерян, как цифра в четвертой графе,
И обманут вином тепловатым.
И сосед мой брезглив и едой утомлен,
Мельхиоровым перстнем любитесь он
На мизинце своем волосатом.

Предзакатное небо висит за окном
Пропускающим воду сырым полотном,
Луч, прорвавшись, крадется к соседу,
Его перстень горит самоварным огнем.
«Может, девочек, – он говорит, – позовем?»
И скучает: «Хорошеньких нету».

Через миг погружается вновь в полутьму.
Он молчит, так как я не ответил ему.
Он сердит: рассчитаться бы, что ли?
Не торопится к столику официант,
Поправляет у зеркала узенький бант.
Я на перстень гляжу поневоле.

Он волшебный! Хозяин не знает о том.
Повернуть бы на пальце его под столом —
И пожалуйста, синее море!
И коралловый риф, что вскипал у Моне

На приехавшем к нам погостить полотне,
В фиолетово-белом уборе.

Повернуть бы еще раз – и в Ялте зимой
Оказаться, чтоб угольщик с черной каймой
Шел к причалу, как в траурном крепе.
Снова луч родничком замерцал и забил,
Этот перстень... На рынке его он купил
Иль работает сам в ширпотребе?

А как в третий бы раз, не дыша, повернуть
Этот перстень – но страшно сказать что-нибудь:
Всё не то или кажется – мало!
То ли рыжего друга в дверях увидеть?
То ли этого типа отсюда убрать?
То ли юность вернуть для начала?

«В тот год я жил дурными новостями...»

В тот год я жил дурными новостями,
Бедой своей, и болью, и виною.
Сухими, воспаленными глазами
Смотрел на мир, мерцавший предо мною.

И мальчик не заслуживал вниманья,
И дачный пес, позевывавший нервно.
Трагическое мирозерцанье
Тем плохо, что оно высокомерно.

«Исследовав, как Критский лабиринт...»

Исследовав, как Критский лабиринт,
Все закоулки мрачности, на свет
Я выхожу, разматывая бинт.
Вопросов нет.

Подсохла рана.
И слезы высохли, и в мире – та же сушь.
И жизнь мне кажется, когда встаю с дивана,
Улиткой с рожками, и вытекшей к тому ж.

От Минотавра
Осталась лужица, точнее, тень одна.
И жизнь мне кажется отложенной на завтра,
На послезавтра, на другие времена.

Она понадобится там, потом, кому-то,
И снова кто-нибудь, разбуженный листвою,
Усмотрит чудо
В том, что пружинкою свернулось заводной.

Как в погремушке, в раковине слуха
Обида ссохшаяся дням теряет счет.
Пусть смерть-старуха

Ее оттуда с треском извлечет.

Звонит мне под вечер приятель, дую в трубку.

Плохая слышимость. Все время рвется нить.

«Читать наскучило. И к бабам лезть под юбку.

Как дальше жить?»

О жизнь, наполненная смыслом и любовью,

Хлынь в эту паузу, блесни еще хоть раз

Страной ли, музою, припавшей к изголовью,

Постой у глаз

Водою в шлюзе,

Все прибывающей, с буксиром на груди.

Высоким уровнем. Системою иллюзий.

Еще какой-нибудь миражик заведи.

Голос 1978

«Слово «нервный» сравнительно поздно...»

Слово «нервный» сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре
У некрасовской музыки нервнойной
В петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его желчном трехсложнике шла,
Разночинная пылкая ссора
И в любви его темой была.
Крупный счет от модистки, и слезы,
И большой, истерический смех.
Исторически эти невроты
Объясняются болью за всех,
Переломным сознанием и бытом.
Эту нервность, и бледность, и пыл,
Что неведомы сильным и сытым,
Позже в женщинах Чехов ценил,
Меж двух зол это зло выбирая,
Если помните... Ветер в полях,

Коврин, Таня, в саду дымовая
Горечь, слезы и черный монах.
А теперь и представить не в силах
Ровной жизни и мирной любви.
Что однажды блеснуло в чернилах,
То навеки осталось в крови.
Всех еще мы не знаем резервов,
Что еще обнаружат, бог весть,
Но спроси нас: – Нельзя ли без нервов?
– Как без нервов, когда они есть! —
Наши ссоры. Проклятые тряпки.
Сколько денег в июне ушло!
– Ты припомнил бы мне еще тапки.
– Ведь девятое только число, —
Это жизнь? Между прочим, и это.
И не самое худшее в ней.
Это жизнь, это душное лето,
Это шорох густых тополей,
Это гулкое хлопанье двери,
Это счастья неприбранный вид,
Это, кроме высоких материй,
То, что мучает всех и роднит.

«Времена не выбирают»

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большой пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.

Ты себя в счастливицы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.

Время – это испытанье.

Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.

Время – кожа, а не платье.

Глубока его печать.

Словно с пальцев отпечатки,

С нас – его черты и складки,

Приглядевшись, можно взять.

«Заснешь и проснешься в слезах от печального сна...»

Заснешь и проснешься в слезах от печального сна.

Что ночью открылось, то днем еще не было ясно.

А формула жизни добыта во сне, и она

Ужасна, ужасна, ужасна, прекрасна, ужасна.

Боясь себя выдать и вздохом беду разбудить,

Лежит человек и тоску со слезами глотает,

Вжимаясь в подушку; глаза что открыть,

что закрыть —

Темно одинаково; ветер в окно залетает.

Какая-то тень эту темень проходит насквозь,

Не видя его, и в ладонях лицо свое прячет.

Лежит неподвижно: чего он хотел, не сбылось?

Сбылось, но не так, как хотелось? Не скажет.

Он плачет.

Под шорох машин, под шумок торопливых дождей

Он ищет подобье поблизости, в том, что привычно,

Не смея и думать, что всех ему ближе Орфей,

Когда тот пошел, каменя, к Харону вторично.

Уже заплетаясь, готовый в тумане пропасть,

А ветер за шторами горькую пену взбивает,

И эту прекрасную, пятую, может быть, часть,

Пусть пятидесятую, пестует и раздувает.

«Сквозняки по утрам в занавесках и шторах...»

Сквозняки по утрам в занавесках и шторах
Занимаются лепкою бюстов и торсов.
Как мне нравится хлопанье это и шорох,
Громоздящийся мир уранид и колоссов.

В полотняном плену то плечо, то колено
Проступают, и кажется: дыбятся в схватке,
И пытаются в комнату выйти из плена,
И не в силах прорвать эти пленки и складки.

Мир гигантов, несчастных в своем ослепленье,
Обреченных всё утро вспухать пузырями,
Опадаты и опять, становясь на колени,
Проступать, приликая то к ручке, то к раме.

О пергамский алтарь на воздушной подкладке!
И не надо за мрамором в каменоломни
Лезть; всё утро друг друга кладут на лопатки,
Подминают, и мнут, и внушают: запомни.

И всё утро, покуда ты нежишься, сонный,
В милосердной ночи залечив свои раны,
Там, за шторой, круглясь и толпясь, как колонны,

Напрягаются, спорят и гибнут титаны.

«Придешь домой, шурша плащом...»

Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек:
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.

Не надо призраков, теней:
Темна и без того.
Ах, проза в ней еще странней,
Таинственной всего.

Мне дорог жизни крупный план,
Неровности, озноб
И в ней увиденный изъян,
Как в сильный микроскоп.

Биолог скажет, винт кружа,
Что взгляда не отвесть.
– Не знаю, есть ли в нас душа,
Но в клетке, – скажет, – есть.

И он тем более смущен,
Что в тайну посвящен.
Ну, значит, можно жить еще.
Таинственна еще.
Придешь домой, рука в мелу,

Как будто подпирал
И эту ночь, и эту мглу,
И каменный портал.

Нас учат мрамор и гранит
Не поминать обид,
Но помнить, как листва летит
К ногам кариатид.

Как мир качается – держись!
Уж не листву ль со щек
Смахнуть решили, сделав жизнь
Таинственной еще?

«Любил – и не помнил себя, пробудясь»

Любил – и не помнил себя, пробудясь,
Но в памяти имя любимой всплывало,
Два слога, как будто их знал отродясь,
Как если бы за ночь моим оно стало;
Вставал, машинально смахнув одеяло.
И отдых кончался при мысли о ней,
Недолог же он! И опять – наважденье.
Любил – и казалось: дойти до дверей
Нельзя, раза три не войдя в искушенье
Расстаться с собой на виду у вещей.
И старый норвежец, учивший вражде
Любовной еще наших бабушек, с полки
На стол попадал и читался в беде
Запойней, чем новые; фьорды и елки,
И прорубь, и авторский взгляд из-под челки.
Воистину мир этот слишком богат,
Ему нипочем разоренные гнезда.
Ах, что ему наш осуждающий взгляд!
Горят письмена, и срываются звезды,
И заморозки забираются в сад.
Любил – и стоял к механизму пружин
Земных и небесных так близко, как позже
Уже не случилось; не зная причин,

А знание причуд; не топтанье в прихожей,
А пропуск в покои, где кресло и ложе.

Любил – и, наверное, тоже любим
Был, то есть отвержен, отмечен, замучен.
Какой это труд и надрыв – молодым
Быть; старым и всё это вынесшим – лучше.
Завидовал птицам и тварям лесным.

Любил – и теперь еще... нет, ничего
Подобного больше, теперь – всё в порядке,
Вот сны еще только не знают того,
Что мы пробудились, и любят загадки:
Завесы, и шторы, и сборки, и складки.

Любил... о, когда это было? Забыл.
Давно. Словно в жизни другой или веке
Другом, и теперь ни за что этот пыл
Понять невозможно и мокрые веки:
Ну что тут такого, любил – и любил.

Куст

Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея.

Так бел и мокр, так эти грозди светятся,
Так лепестки летят с дичка задетого.
Ты слеп и глух, когда тебе свидетельства
Чудес нужны еще, помимо этого.

Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,
И сам готов кого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет, бесноватого,
И ты начнешь и говорить, и видеть.

«Какое чудо, если есть...»

Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если всё само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!

Мы разве в проигрыше? Нет.
Тогда всё тайна, всё секрет.
А жизнь совсем невероятна!
Огонь, несущийся во тьму!
Еще прекрасней потому,
Что невозможно.

Пирь

Андрею Смирнову

Шампанское – двести бутылок,
Оркестр – восемнадцать рублей,
Пять сотен серебряных вилок,
Бокалов, тарелок, ножей,
Закуски, фазаны, индейки,
Фиалки из оранжерей, —
Подсчитано все до копейки,
Оплачен последний лакей.

И давнего пира изнанка
На глянцевом желтом листе
Слепит, как ночная Фонтанка
С огнями в зеркальной воде.
Казалось забытым, но всплыло,
Явилось, пошло по рукам.
Но кто нам расскажет, как было
Беспечно и весело там!

Тоскливо и скучно!

Сатира

На лестнице мраморный торс.
Мне жалко не этого пира
И пара, а жизни – до слез.

Я знаю, зачем суетливо,
Иные оставив миры,
Во фраке, застегнутом криво,
Брел Тютчев на эти пиры.

О, лишь бы томило, мерцало,
Манило до белых волос...
Мне жалко не этого бала
И пыла, а жизни – до слез,
Ее толчеи, и кадушки
С обшарпанной пальмою в ней,
И нашей вчерашней пирушки,
И позавчерашней, твоей!

«Быть классиком – значит стоять на шкафу...»

Быть классиком – значит стоять на шкафу
Бессмысленным бюстом, топорща ключицы.
О Гоголь, во сне ль это всё, наяву?
Так чучело ставят: бекаса, сову.
Стоишь вместо птицы.

Он кутался в шарф, он любил мастерить
Жилеты, камзолы.
Не то что раздеться – куска проглотить
Не мог при свидетелях, – скульптором голый
Поставлен. Приятно ли классиком быть?

Быть классиком – в классе со шкафа смотреть
На школьников; им и запомнится Гоголь —
Не странник, не праведник, даже не щеголь,
Не Гоголь, а Гоголя верхняя треть.

Как нос Ковалева. Последний урок:
Не надо выдумывать, жизнь фантастична!
О юноши, пыль на лице, как чулок!
Быть классиком страшно, почти неприлично.
Не слышат: им хочется под потолок.

«Ребенок ближе всех к небытию...»

Ребенок ближе всех к небытию.
Его еще преследуют болезни,
Он клонится ко сну и забытию
Под зыбкие младенческие песни.
Его еще облизывает тьма,
Подкравшись к изголовью, как волчица,
Заглаживая проблески ума
И взрослые размазывая лица.
Еще он в белой дымке кружевной
И облачной, еще он запеленат,
И в пене полотняной и льняной
Румяные его мгновенья тонут.
Туманящийся с края бытия,
Так при смерти лежат, как он – при жизни,
Разнежившись без собственного «я»,
Нам к жалости живой и укоризне.
Его еще укачивают, он
Что помнит о беспамятстве – забудет.
Он вечный свой досматривает сон.
Вглядись в него: вот-вот его разбудят.

«Контрольные. Мрак за окном фиолетов...»

Контрольные. Мрак за окном фиолетов,
Не хуже чернил. И на два варианта
Поделенный класс. И не знаешь ответов.
Ни мужества нету еще, ни таланта.
Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни.
Учебник достать – пристыдят и отнимут.
Бывал ли кто-либо в огромной отчизне,
Как маленький школьник, так грозно покинут!
Быть может, те годы сказались в особой
Тоске и ознобе? Не думаю, впрочем.
Ах, детства во все времена крутолобый
Вид – вылеплен строгостью и заморочен.
И я просыпаюсь во тьме полуночной
От смертной тоски и слепящего света
Тех ламп на шнурах, белизны их молочной,
И сердце сжимает оставленность эта.
И все неприятности взрослые наши:
Проверки и промахи, трепет невольный,
Любовная дрожь и свидание даже —
Всё это не стоит той детской контрольной.
Мы просто забыли. Но маленький школьник
За нас расплатился, покуда не вырос,
И в пальцах дрожал у него треугольник.

Сегодня бы, взрослый, он это не вынес.

Сложив крылья

Крылья бабочка сложит,
И с древесной корой совпадет ее цвет.
Кто найти ее сможет?
Бабочки нет.
Ах, ах, ах, горе нам, горе!
Совпадут всеми точками крылья: ни щелки, ни шва,
Словно в греческом хоре
Строфа и антистрофа.
Как богаты мы были, да всё потеряли!
Захотели б вернуть этот блеск – и уже не могли б.
Где дворец твой? Слепец, ты идешь, спотыкаясь
в печали.

Царь Эдип.

Радость крылья сложила
И глядит оборотной, тоскливой своей стороной.
Чем душа дорожила,
Стало мукой сплошной.

И меняется почерк,
И, склонясь над строкой,
Ты не бабочку ловишь, а жалкий, засохший листочек,
Показавшийся бабочкою под рукой.

И смеркается время.
Где разводы его, бархатистая ткани канва?
Превращается в темень
Жизнь, узор дорогой различаешь в тумане едва.

Сколько бабочек пестрых всплывало у глаз
и прельщало:
И тропический зной, и в лиловых подтеках Париж!
И душа обмирала —
Да мне голос шепнул: «Не туда ты глядишь!»

Ах, ах, ах, зорче смотрите,
Озираясь вокруг и опять погружаясь в себя.
Может быть, и любовь где-то здесь, только
в сложенном виде,
Примостилась, крыло на крыле, молчаливо любя?

Может быть, и добро, если истинно, то втихомолку.
Совершённое втайне, оно совершенно темно.
Не оставит и шелку,
Чтоб подглядывал кто-нибудь, как совершенно оно.

Может быть, в том, что бабочка знойные крылья
сложила,
Есть и наша вина: слишком близко мы к ней
подошли.
Отойдем – и вспорхнет, и очнется, принцесса
Брамбила
В разноцветной пыли!

«Сентябрь выметает широкой метлой»

Сентябрь выметает широкой метлой
Жучков, паучков с паутиной сквозной,
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,
Их круглые линзы, бинокли, очки,
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,
Их усики, лапки, зацепки, крючки,
Оборки, которые были к лицу.

Сентябрь выметает широкой метлой
Хитиновый мусор, наряд кружевной,
Как если б директор балетных теплиц

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.